

*Все события и персонажи этого романа
вымышленные. Любое сходство или совпадение
с реальными событиями и/или реальными
людьми — случайное и непреднамеренное.*

Мишке.

В нашем богоспасаемом / богом терзаемом мире,
Где наследство пятак, а долги распирают карман,
Где все спаяны бытом в большой коммунальной квартире
(тот подлец и дурак, та гуляет, а этот по пятницам пьян),
Где по стенам висят стульчаки и портреты героев,
не вернувшихся с — ах, прошлогодней столетней войны,
Где на кухне поместится всё, кроме ближнего боя,
Где жильцы в эту общую жизнь как в болезнь влюблены —
Бесполезно судить, бесполезно искать, бесполезно.
Только дверь изнутри подпереть — и бездумно смотреть,
Как кудрявое солнце на крышу мальчишкой полезло,
Как колодец двора стал светлее на целую треть.

*Ольга Левская*¹

¹ Ольга Левская, <https://www.facebook.com/olgalevsky>

Пролог

Отчего-то людям нравится задавать дурацкие вопросы. Ладно бы — себе; так нет же — другим. Вот, к примеру, один, наидурейший: «Опиши твоё самое первое воспоминание». С чего всё началось? С чего начался ты? Давай-ка, не ленись — выкладывай без утайки; именно «самое» и именно «первое».

Кто-то подходит серьёзно, будто в самом деле ничего и нет важнее на свете. Вот уже щедро морщится лоб, слегка прикрываются глаза, раздражённо потираются виски. Отчаявшись найти быстрый ответ, запускаются маленькие, недобро жужжащие, с острыми лезвиями, лопаточки-совочки ретроспекции разума под сводом храма черепной коробки: чтобы поворошить там, покопаться, напоследок даже поскрести по стенкам. И — так ничего не вспомнив — сделать вид: «Нарьл!». Это как «эврика!», только попроще; всё же двадцатое столетие за окном — не Средние века, не какой-нибудь там недобитый Ренессанс. И с умным видом потом — как давай вешать, да соловьём!.. Понятно, придумывая на ходу. В меру своей испорченности.

Кто-то же рубит сразу и с плеча: отстаньте, не тратьте время. Ничего не помню, вспомнить не могу, да и не хочу. И не буду. Коротко, зато честно.

Но есть другие. Самые редкие. Те, кто на самом деле помнят, и придумывать им ничего не надо. И, главное, никогда не забудут.

Ванчуков был из этих самых. Из третьих.

Июньским утром, прозрачным, в яркой дымке нехотя рассеивающегося тумана, с трудом сохраняя хрупкое равновесие на дерзко пробующих землю ножонках — впрочем, лишённых рахитичности и через раз встречающегося косолапия — Ванчуков застыл на краю лужайки, взбурённой свежей травой и залитой раскисшей грязью привозного чернозёма. Даже самый мелкий куст там был для него с большую пальму, способную укрыть прохладной тенью завивающуюся светлыми вспотевшими кудряшками макушку под смешной, пельмешком-пирожком, с двумя

перламутровыми пуговичками, панамкой. Что ж до деревьев, обступивших поляну, то их присутствия Ванчуков не замечал вовсе: они были так велики, что в картине мира Ванчукова для них при всём желании не нашлось места.

Трава под ногами — скользкая, мокрая — чавкала с каждым неуверенным шагом. Она просто сочилась водой, как свежий, только что купленный бисквитный торт-полено исходит сладкой коньячной пропиткой. Над поляной тёт, завихряясь, сложный аромат тёплой зелёной свежести. Рядом с Ванчуковым, на расстоянии вытянутой детской ручонки, из земли торчал горбатый, синим крашенный поливочный водопроводный кран, увенчанный похожей на бандитский кастет ручкой вентиля. Какой-то бесталанный торопыжка когда-то забыл закрыть его как полагается — до конца, и кран, целыми днями хрипло сипя и побрызгивая радужною дугою больших водяных капель, затопил поляну городского парка, превратив её не то в заливной луг, не то в свежее болото. Такое безалаберное отношение к воде здесь, в сухой казахской степи, смотрелось по меньшей мере глупо.

Ещё там, кажется, пели птицы; тёрли маникюрными пилками лапок по гулким слюдяным крылышкам кузнечики; конечно же, парила земля; вполне вероятно — даже наверняка — волнами накатывал советский плагиатный твист из рупоров торчащего поодаль несуразного сборища скрипучих аттракционов вперемешку со всенепременным визгом оседлавших качели-карусели граждан — ведь то было воскресенье, день святой, единственный выходной в рабочей неделе образца одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Конечно же, всё это там было — его просто не могло не быть.

Но ничто из перечисленного Ванчукову не запомнилось. В память же навеки твёрдо впечаталось совсем другое: предательски-наждачно при каждом шажке саднящая пятка, обструганная до липкой пахучей крови жёстким задником убогой двухрублёвой пары совнархозовских сандалет. Причём не просто «пятка», а пятка конкретная. Правая.

Боль заставляет чувствовать, втягивать в себя окружающий мир в распахнутые диафрагмы расширяющихся от

муки зрачков. Боль приказывает человеку: запоминай. И именно она, боль, всегда, без исключений и пощад, всплывает из глубин прошлого первой, расталкивая всё и вся, — как бы сервильно и глубоко ни пытаться её за-прятать.

Вообще, странно, нелепо, что летним утром шестьдесят третьего года Ванчуков оказался на лужайке. По большому счёту, он, Ванчуков, был нонсенсом. И его не должно было быть не только на лужайке. Его не должно было существовать вообще. Но — материализовался, случился, задышал, открыл карие глаза, и вот теперь, случившись, да ещё и стерев до крови правую пятку, впервые в жизни застрял в непролазной грязи.

Так откуда он здесь? Волей-неволей придётся копнуть ещё глубже, отмотать ломкий мутный целлулоид времени ещё на десятилетие. Хотя что для вечности эти «десять туда, десять сюда»?.. Так, не стоящий внимания пустяк.

Ничего себе — был пустяк, а стал — целый Ванчуков.

Часть первая

Глава 1

Сношенные подошвы давно отживших своё галош безбожно скользили на подтаявшем от распутицы лежалом снегу разбитой мостовой узенького и кривенького переулка. Мало того, что скользко и срывающаяся с крыш капёль так и норовит залезть поглубже за шиворот, так ещё — путь в горку! Идти нелегко. Так хочется расстегнуть старое драповое перелицованное кургузое пальтишко! Но нельзя: верная простуда. Сибирь даже весной вольностей не прощает.

Вырвавшийся из-за угла, словно тать с большой дороги, порыв ледяного ветра с размаху хлестанул в раздумянившееся девичье личико. Изольда, вздохнув, крепче прижала к шее над истёртым цигейковым воротником штопаную-перештопаную шаль, завязала фривольно болтавшиеся тесёмки войлочной ушанки и чуть ли не бегом рванула вверх по изъеденному дворницкой солью тротуару бестолковой главной улицы — туда, где за ренуаровской туманной дымкой нависал над прохожими и проезжими строгий уютный серый корпус металлургического института.

Неделю назад Изольде стукнуло двадцать три. Она была восьмым ребёнком в семье. Но только во фразе этой — «она была восьмым ребёнком в семье» — не было и на грош правды.

Во-первых, потому что никаких семи братьев и сестёр у Изольды нет: все они умерли во младенчестве, никто из них не пережил даже двухмесячного возраста. Изольда осталась жива по непонятной причине, но вряд ли это могло исправить ситуацию: отцу, Пегову Михаилу Ивановичу, врачу-хирургу, многолетний ужас с мёртвыми детьми и осатаневшей от напрасных родов женой уже не первый год стоял поперёк горла. Его призвали на финскую кампанию; он с радостью сбежал из ненавистного дома. Служил в госпитале рядом с линией фронта.

В предоперационную влетела бомба. Покосило всех, кроме Изольдиного отца — ему только посекло осколками

обе ноги да чиркнуло по левой щеке, перебив нерв и навсегда бессильно опустив угол рта. Выхаживала его сестричка из хирургического отделения. С ней-то Михаил Иванович и вернулся после финской в Сибирь. Квартиру горздрав дал сразу — такими спецами разбрасываться глупо. Молодая жена Михаила Ивановича была уже на приличном сроке беременна двойней. Домой, в коммуналку, к Изольде с матерью, хмурый Пегов явился через неделю: собрать чемоданчик с личными вещами. Чемоданчик собрал, Изольду чмокнул торопливо и вышел вон — строить новое счастье с новой женой и новыми детьми в новой квартире. Так появилось и «во-вторых»: никакой семьи у Изольды теперь и вовсе не было.

А что было? Сначала, после финской и краткого явления отца за чемоданчиком, была следующая война. Отца поставили главврачом местного тылового госпиталя. Город наводнили раненые и эвакуированные. Была коммуналка, была нищета. Мать Изольды, когда-то, до исторического материализма, выпускница Смольного — женщина без профессии и без должности, туберкулёзница, курившая по пачке самых дешёвых плохих папирос в день, бледная, измождённая, отчаявшаяся — зарабатывала на жизнь тем, что перешивала на старом «зингере» людям старые вещи. Это она, по второму уже разу, перелицевала Изольдино позорное пальто, купленное когда-то по случаю на последние деньги на барахолке, — хотя бы за перелицовку не пришлось платить.

Жили скудно. Хлеба по карточкам мало: материна была не рабочая, а иждивенческая. Ну и Изольдина, детская — а много ли по ней... Изольде всегда хотелось есть. Ещё надо было расти — но расти было не с чего. Бледная, тощая, с глазами в пол-лица, с чёрной косой чуть ли не до пола, она не представляла, что возможна другая жизнь.

Что ещё было? Был город. Суровый, сибирский, с навеки растворённым в воздухе запахом меткомбината и окрестных угольных шахт. «Через четыре года здесь будет город-сад»². Город построить успели, сада не случилось. Была война. Были голодные обмороки. Была победа. Была золотая медаль в школе. Был единственный в городе институт.

² Владимир Маяковский, «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое».

Отличница, повышенная стипендия. И вот теперь, после пяти лет — преддипломная практика.

Отец? Так он ушёл. С чемоданчиком. И дорогу туда, откуда забрал чемоданчик, вытер из виноватой памяти насовсем. Иногда Изольда сама, преодолевая обиду и тоску, приходила в больницу. Подолгу сидела в приёмной — папа то был в операционной, то на обходе, то где-то ещё. Конечно, можно было позвонить — в кабинете главного врача существовал телефон, а на улице хватало таксофонов; но звонить Иза не хотела и не могла. Она просто не знала, как разговаривать с отцом, не видя его глаз. Папа, усталый, совсем уже седой, погрузневший, посеревший лицом, в белом отглаженном халате на голое тело, в высокой хирургической шапочке, с болтавшейся на шее марлевой маской, быстро входил в свою приёмную, поднимал дочь с кресла, целовал в обе щёки, брал в охапку, запихивал в кабинет, усаживал — всегда! — в «царское», как он любил шутить, кресло за необъятным рабочим столом; сам садился на широкий подоконник, ставил пепельницу, курил сталинскую «герцеговину» одну за одной, широко открыв форточку. Поил Изольду крепким чаем, кормил бутербродами и пряниками, пил чай сам. Слегка склонив голову набок, спрятавшись, наверное, сам от себя за клубами дыма, расспрашивал про жизнь, про институт, никогда не вспоминая даже намёком о бывшей жене. Давал денег. Деньги эти Иза раз за разом, уходя, «забывала» на столе; Михаил Иванович замечал, хватал купюры в кулак, бежал следом, догонял, останавливал на лестнице, засовывал в сумку или в карман. Изольда молчала, давилась слезами; не разбирая дороги, уходила вниз по лестнице. Она никогда не была у отца дома — хотя сколько раз он приглашал. Никогда не видела сводных сестёр-близняшек, пока однажды они, уже подросшие, не отловили её у выхода из института, не кинулись на шею. И так стояли они, втроём, три хрупкие девчоночки — одна бледная, две смуглые (их мать была абхазкой), стояли, обнявшись, и плакали тихо, то ли от радости, то ли просто потому, что не заплакать в такие моменты у тех, кто имеет души, не получается.

Личная жизнь? А это как? Это откуда? Какая может быть личная жизнь: в голоде, в холоде, в постоянных, все

пять лет института, подработках да приработках — иначе на одну повышенную никак не прожить вдвоём с матерью, ослабевшей, совсем лишившейся возможности заработать хотя бы какую-то копеечку. Были, конечно, кавалеры-ухажёры. Война войной, разруха разрухой, а тестостерон никто не отменял — да и не в силах людишкам над планами высших сил властвовать. В девчушках Иза поначалу была испуганной и просто миловидной, но после двадцати успокоилась, немного-таки откормилась и расцвела. Проще говоря, стала красивой, хоть и малорослой — не дотягивала до ста шестидесяти. Крупные черты лица, коим была она обязана греческим предкам три поколения назад, вкупе с бледностью и изредка проявляемым на чуть впалых щеках румянцем, тяжёлая коса чуть ли не до пола давали такой замес, что многие сокурсники в буквальном смысле сходили с ума. Однако ума у этих многих и так было не особо; все они хотели одного, и хотели быстро. Изольда же совершенно не понимала, зачем ей вся эта мышьяная возня. Тем более, что есть всегда хотелось больше, чем любить.

Мать по обычаю глядела на дочь недовольно, выражалась в её адрес резко, часто в сердцах попиливала за излишнюю разборчивость: мол, гляди, так в девках и протухнешь. Изольда слушала её исключительно по дочерней обязанности, без раздражения — как, допустим, шофёр автомобиля слушает шум двигателя. Без шума машина всё равно не едет — так зачем на него реагировать? Мать была властной, высокой, прямой, костлявой, худой, с неистребимой смольной институтской осанкой, с гордо посаженной головой, с безумно пылающими глазами — и от всего этого несчастной и жалкой. Весь её тщетно оберегаемый до конца не растраченный и не растерянный в страшных послереволюционных годах аристократизм оказывался в сочетании с нищетой не просто бессмысленен, но убийственен. Она уже давно не воевала со всем миром — она воевала с собой. И войну эту день за днём проигрывала. Ибо бой с тенью никогда не может завершиться победой.

С Лялькой Барышевой Изольда столкнулась прямо в раздевалке. Раскрасневшаяся взмокшая Лялька как раз скидывала на руки гардеробщице новую каракулевою шубку, на

ходу запихивая в рукав кружевной платок. Изольда замедлила шаг, хотела было спрятаться за стоявший по центру вестибюля стенд с учебными расписаниями. Сдавать своё убитое пальто следом за Лялькиной шубкой было выше её сил. Но номер не прошёл.

— Изка, Изка, ой, ты! Ой, как я рада! Ой, а мы не опоздали?! — Лялька, в сущности, была хорошей девчонкой. Доброй, отзывчивой. Ну, глуповатой, но это-то самую малость. — Изка! Я всё-всё весной забываю! В какую нам аудиторию?

— Девушка, — с полпути до вешалки повернулась к Ляльке пожилая гардеробщица, — у тебя на шубе вешалка оторвана. Не приму.

— Ой, ой, простите, пожалуйста! — виновато затараторила Барышева. — Я пришью, я обязательно пришью! А повесьте за ворот, а?.. Ну, пожалуйста!..

Пегова подождала, пока закончится цирк с конями.

— В двадцать третью, на втором, — чуть ли ни по слогам сказала она бестолковой однокашнице, медленно-медленно освобождаясь от позорного пальто и кладя его на руки гардеробщице. — Не опоздали. У нас ещё две минуты. Но точно опоздаем, если ты ещё тут квохтать будешь.

На «квохтать» Барышева, весь институт списывавшая у Пеговой все контрольные и курсовые, нисколько не обиделась. Иза, конечно, не подруга и, конечно, дочери главного меткомбинатского инженера не ровня; да, девушка резкая, но — не злая. Отходчивая. И вообще: себе дороже обижаться. Обидишься вот — а она потом списать не даст!

— Эх, надо же, — покачала головой вслед поднимающимся по лестнице девчонкам гардеробщица, — одна вся в нарядах, в шелках да кашемирах, а какая неряха. А тут — заплатка на заплатке, сарафан-то скоро на просвет будет как марля, а гляди ж ты — в каком всё порядке. И вешалка у польта еёшного какая — клещами не выдерешь!

Вешалку к Изольдиному пальто пришивала мать. Не простую — из металлической цепочки, закреплённой к ткани двумя маленькими кусочками кожи. Да ещё раз в месяц проверяла: не вырвана ли. Наверное, жалела, что к дочери нельзя было пришить такую.

Народу в тесной двадцать третьей собралось немного — человек тридцать, половина выпускного курса металлургического факультета. Иза с Лялькой сели справа, недалеко от входа. Минуты через три в открытую дверь, прихрамывая, ввалился замдекана доцент Поскрёбышев. С ним пришли ещё пятеро мужчин. Никого из них Иза раньше не видела. Поскрёбышев сразу отправился за трибуну, а мужчины стали усаживаться в первом ряду. Но свободных мест там оставалось всего четыре. Пятый, кому места не хватило, улыбнулся, спросил у девушек разрешения, сел на свободное рядом с Лялькой. Та зарделась и ещё наглее запахла дорогими духами.

— Ну что, дорогие товарищи, — начал Поскрёбышев. — Ещё вчера я бы сказал вам «товарищи студенты», а уже сегодня так обратиться к вам не могу. Потому что это будет неправильно. Не студенты вы больше. Теперь вы — дипломники. Впереди у нас с вами всего один семестр, он же последний, и он же самый важный. И, как вы догадываетесь, самый тяжкий, — Поскрёбышев обвёл аудиторию тяжёлым взглядом. Осколочное ранение в спину всякий раз напоминало о себе, когда приходилось долго стоять. — Потому что за один семестр вам нужно всё, чему вас учили и чему вы учились все пять лет, применить на практике, создать и защитить дипломную работу. Я специально не говорю «написать». Это пусть контора пишет.

По залу пробежал лёгкий смешок. Поскрёбышев сам улыбнулся своим словам и продолжил:

— Нам с вами повезло, да, именно повезло! Вам учиться, а нам преподавать — в одном из лучших вузов советской страны, к тому же находящемся в славном городе, названном именем великого Сталина! Почему — в одном из лучших? Да потому что наш институт, всего три года как отметивший двадцатилетний юбилей, ещё совсем молод и полон сил. Потому что у нас преподают лучшие практики металлургического дела, которые, если можно так образно выразиться, товарищи, одинаково легко примеряют на себя и академическую мантию, и брезентовую робу сталевара! Потому что у каждого студента нашего института есть уникальная возможность практиковаться